

Хроника научной жизни

Международная конференция «XXXI Банные чтения. “Антропология академических свобод: дискурсы, институты, практики”»

(Журнал «Новое литературное обозрение», 4–6 апреля 2025 года)

DOI: 10.53953/08696365_2026_198_2_362

Банные чтения, получившие название от Банного переулка в Москве, где раньше располагалась редакция «Нового литературного обозрения», — старейшая и наиболее авторитетная международная конференция, посвященная исследованиям культурной жизни, истории и развития, сопряженным с трансформациями современного общества. Темой чтений 2025 года стала «Антропология академических свобод», которую участникам было предложено рассмотреть сквозь призму дискурсов, институтов и практик академии¹.

Изначально в ходе подготовки XXXI Банных чтений редакция журнала «Новое литературное обозрение» ставила проблему академических свобод в негативном ключе, противопоставляя свободу университета и его независимость (от политики) антиинтеллектуализму, множественным нарушениям академических свобод и принципа университетской автономии, которые сегодня можно наблюдать в разных странах вне зависимости от культурного контекста и политического режима. Однако искомый нормативный идеал «республики ученых» также не лишен недостатков: будучи закрытым и иерархически организованным сообществом «лучших умов», он рискует оказаться кружком по интересам — или в худшем случае сектой, — изолированным от внешнего мира и актуальных вызовов эпохи.

Современная академия, безусловно сохраняющая следы и античной, и средневековой образовательной традиции, преимущественно наследует европейскому Просвещению, на что указывает опен-колл и анонс чтений². Кантовский призыв *Sapere aude!* делает образование принудительным, а во главу этого процесса ставятся просвещенные мужи, достигшие определенной зрелости в своем понимании

-
- 1 Тематика культурологии, антропологии и социологии научной сферы посвящена книжная серия «История науки» издательства «Новое литературное обозрение», специальный выпуск «Трансформация гуманитарного знания в постсоветской России» (№ 178) и отдельные блоки в номерах 138, 140, 161, 167, 179, 185, 189 и 190 журнала «НЛО».
 - 2 С текстом опен-колла XXXI Банных чтений, который впоследствии лег в основу анонса, можно ознакомиться на сайте «Нового литературного обозрения»: XXXI Банные чтения // Новое литературное обозрение. 2025 (URL: <https://www.nlobooks.ru/events/konferentsii/xxxi-bannye-chteniya/>).

мира («совершеннолетия», выражаясь языком Канта) и готовые вывести неразумных других из «тьмы невежества» — того, что было определено ими как «темное», иррациональное, незрелое, необузданное, неевропейское и т.д. На подобные ограниченные представления об академии и реагирует критическая интонация чтений: организаторов и участников интересовала не столько некая «идеальная академия», существовавшая в далеком прошлом или утраченная в недавнем, а более глобальные тенденции, например, наступление разных политических сил на образование, коммерциализация университетов, влияние публичных интеллектуалов на общественный прогресс, внимание к деколонизации знания и альтернативным рациональностям и мн. др.

Не последнюю роль в постановке такой проблематики сыграло влияние философии Мишеля Фуко, которое испытали многие организаторы конференции, в частности его ответа на вопрос «Что такое Просвещение»³. По Фуко, Просвещение (и академия, понимаемая не как совокупность университетов, а как свободные интеллектуалы, которые служат носителями философского этоса Просвещения) — не определенный исторический период, а установка современности (*attitude de modernité*), направленная на критику определенного стиля бытия, сложившегося в результате конкретных исторических событий, то есть способность мыслить окружающий мир и себя в нем иначе, чем это приказывают «вековые» (на деле — контингентные) правила и нормы. Обращаясь к культурному измерению академических свобод, союзником Фуко выступает *premier poète moderne* Шарль Бодлер. Бодлер, по Фуко,

определяет современность как «время переходное, ускользающее, случайное». Однако быть современным для него отнюдь не означает признавать и соглашаться на это вечное движение; наоборот, это значит занять определенное положение по отношению к нему; и эта добровольно принятая установка состоит в том, чтобы ухватывать нечто вечное, но такое, которое таится не по ту сторону настоящего мгновения, не позади него, а в нем самом. <...> [Э]то установка, которая позволяет схватить то, что является «героическим» в настоящей минуте⁴.

Исследования академических свобод также являются «волей “героизировать” настоящее»⁵, схватывать все то скрытое и сопротивляющееся нормативному давлению, что сохраняется в академии как пространстве зарождения и динамической практики знания в диалоге и кооперации со многими разными другими. Эта воля характеризует самих академиков не только как эффективных менеджеров, проектирующих и управляющих образовательными программами, курсами и даже целыми университетами, но и как своего рода аскетов (в фуколдианском смысле). Ректор Шанинки Сергей Зуев в предисловии к своей книге «Университет. Хранитель идеального»⁶ во многом созвучно Фуко указывает на онтологичность академии, ее способность представлять искомую картину мира:

3 Помимо одноименного эссе Фуко в контексте темы конференции можно вспомнить его статьи и интервью в культовом сборнике «Интеллектуалы и власть». См.: Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с франц. С.Ч. Офертаса под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Практикс, 2002.

4 Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с франц. С.Ч. Офертаса под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Практикс, 2002. С. 345.

5 Там же.

6 Зуев С. Университет. Хранитель идеального. Нечаянные эссе, написанные в уединении. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Для углубления в проблематику академических свобод отсылаю к главе «Академические свободы. Для чего?». См.: С. 221–251.

Это [университет] исторически базовый (если не единственный в своем роде) институт критического мышления в европейской традиции. Это своего рода лаборатория воспроизводства критической этики и связанных с ней утопических идеалов. Суть в том, что Университет постоянно порождает критические альтернативы по отношению к самому себе, своим осуществленным версиям, производя тем самым свое «творческое разрушение». <...> Каркас онтологии, таким образом, вырастает из сохраняющихся предельных альтернатив, смысл которых — в поддержке критического взгляда на свои собственные исторические версии⁷.

Увидеть собственные исторические версии в хрупком и так часто неопределенном настоящем попытались и докладчики XXXI Банных чтений. С приветственным словом к ним обратилась *Ирина Прохорова* (издательство «Новое литературное обозрение», Москва). Она подчеркнула, что проблематика академических свобод всегда стояла перед учеными разных эпох и XXXI Банные чтения призваны рассмотреть историческую и культурную динамику этого явления. Как складывалось понятие академических свобод? Как они закреплялись институционально? Как в разные исторические периоды и в разных культурах эти свободы понимались и трансформировались? К ответу на эти и другие вопросы Ирина Дмитриевна пригласила участников чтений.

Первую секцию «*Академические свободы: понятие, контексты, опыты проблематизации*» открыл *Сергей Зуев* (МВШСЭН (Шанинка), Москва), выступив с докладом «*Академические свободы: опыты проблематизации*». Сергей Эдуардович начал с важной оговорки: свободу в академии трудно обсуждать объективно, с позиции классической науки. По его мнению, понятие академической свободы сопоставимо с тем, что американский антрополог Джеймс Скотт называл «метис-знанием» — знанием, которое связано с конкретной ситуацией, и по этой причине его едва ли можно передать в объективной форме. Впрочем, заметил Зуев, эта трудность относится к интерпретации любых свобод, ведь то, как понимается свобода, всегда зависит от того, *кто* этой свободой пользуется. Чтобы отразить контекст пользования академическими свободами, общий для многих представителей социальных и гуманитарных наук в России, докладчик обратился к собственному опыту работы в Шанинке начала 2000-х, а конкретно к тому моменту, когда Школа решила запустить российскую магистратуру (до этого вуз сотрудничал только с Манчестерским университетом и все его магистерские программы де-юре являлись британскими). Процесс вхождения Шанинки в пространство российского образования, сопряженный с необходимостью соблюдать Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), впервые поставил перед ней вопрос об академической свободе, поскольку, хотя российские стандарты не такие объемные, как британские, они совершенно «деперсонализированы», не учитывают индивидуальные особенности образовательных программ (в лице их руководителей и академических советников от Манчестерского университета, ранее валидировавших все программы магистратуры) и стремятся уравнивать академические порядки с бюрократическими. Несоответствие двух норм, британской и российской, привело к осознанию того, что академическая свобода в Шанинке, конечно, присутствовала, но к тому моменту, когда она стала предметом обсуждений, ее уже не было: «Сам факт воспоминания об институте [академической свободы] парадоксально приводит к фиксации того обстоятельства, что академическая свобода, как бы ее ни понимал каждый из участников [образовательного процесса] или мы вместе, оказывается ущемленной». По мнению Зуева, эта диалектика академичес-

7 Там же. С. 22.

кой свободы начинается с университетского проекта Вильгельма фон Гумбольдта (в 1809 году по его инициативе был основан Берлинский университет). Гумбольдт включал в понятие академических свобод свободу учения, свободу обучения и свободу исследования. Наряду с этими тремя свободами в качестве основы образовательного процесса он рассматривал уединение, понимаемое им как автономия университета от внешнего мира, которое позволяет создать пространство для рационального суждения, «чистого» отношения к социуму, критики социального и современного. Позже, спустя почти 150 лет, Хельмут Шельски в своем проекте Билефельдского университета повторил формулу Гумбольдта, связывающую академические свободы с удалением от внешних запросов и требований, и предложил создать «междисциплинарный центр». Впоследствии этот центр получил название *liberal arts* и превратился в самостоятельную систему образования, в рамках которой академическая свобода сопутствует индивидуальному выбору и развитию студентов. По мысли Зуева, свобода в университете необходима не только для обеспечения автономии, но и чтобы создавать пространство для критического суждения. Докладчик привел в пример британскую организацию *Academics for Academic Freedom* (рус. «Академики за академическую свободу»), деятельность которой направлена на противодействие внешнему давлению на академию, связанному, например, с ограничением тем и сюжетов исследований. Здесь можно проследить влияние теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса. По Хабермасу (в соответствии с интерпретацией Зуева), для сохранения политически значимой общественной коммуникации важны открытость и беспристрастное критическое суждение по поводу общественного блага, которым, в частности, является знание. Однако по мере расширения зоны открытости уровень дискурса падает и становится предметом повсеместных манипуляций, что неизбежно сказывается на качестве образования. Этим Зуев объяснил потребность в организациях, защищающих академические свободы, пускай даже таких спорных, как *Academics for Academic Freedom* (некоторые СМИ называли ее работу «борьбой за право оскорблять», поскольку она противоречила антидискриминационному законодательству). Несмотря на всю противоречивость, такие организации поднимают вопрос об этике коммуникации, напоминающей о безусловной частичности любого критического суждения. В дискуссии после доклада Сергей Эдуардович уточнил, что под автономией университета он понимает удаление академии от социальности, таким образом, академическая свобода становится уникальным свойством университета как институции и корпорации, а не как профессионального сообщества независимых ученых. В этом смысле история университетов открывается как история балансирования между сохранением собственной идентичности и уходом во «временную трансценденцию». Также в рамках обсуждения *Ирина Прохорова* спросила докладчика о специфике постсоветского понимания академических свобод в современной России. Зуев указал на такие черты, как стремление к преодолению изоляции от зарубежных университетов, акцент на социально-гуманитарные дисциплины и критическую рефлексию над советским опытом идеологизированного образования.

Доклад *Петра Сафронова* (независимый исследователь) «*Открытое vs свободное: характеристика знания как этико-политический выбор*» был посвящен слиянию академической свободы и академической открытости в новейшей истории университетов и проблемам, которые за собой влечет подобное неразличение. Сафронов утверждал, что причина подмены понятий кроется в мире информационных технологий. В 1990-е годы хакерская концепция *free source* (свободного программного обеспечения), согласно которой программное обеспечение должно стать общественным благом (а не товаром) и его можно будет использовать для

любых целей, изучать и модифицировать под индивидуальные нужды, была замечена другой концепцией — *open source* (Сафронов перевел ее как «движение открытого кода»). То, что, на первый взгляд, относится исключительно к сфере ИТ (один из сторонников *open source* Эрик Стивен Реймонд рассматривал эту концепцию в противовес *free source* как более приемлемую с точки зрения корпоративного интереса), по мнению Сафронова, соотносится и с современной полемикой вокруг академических свобод. Разработка программного обеспечения в соответствии с концепцией *free source* напоминает гумбольдтовский принцип уединения: оба представляют собой совместную практику и делают вклад в развитие глобального интеллектуального сообщества, которое движимо нематериальными стимулами. В случае же *open source* процесс распространения данных, а значит и самой науки, полностью коммерциализируется. Так, под влиянием внедрения технологий во все сферы академической жизни произошла подмена понятий и свобода была приравнена к открытости. Стоит отметить, что подобная инфляция понятий свободы и открытости — говорить о которой более корректно, чем о полном стирании границ между ними (тезис Сафронова) — характерна преимущественно для университетов Глобального Севера, что, кстати, докладчиком не отрицалось. Тот факт, что исследовательский сектор все больше впадает в зависимость от нужд корпораций, не означает обесценивания самой открытости, напротив, наряду со свободой она остается неотъемлемым условием демократизации университета, учитывая социальное многообразие и обеспечивая участие разных акторов в академической жизни, и выстраивания глобальной и равноправной научной коммуникации. Продолжая противопоставлять открытость и свободу, докладчик обратился к «Стратегии 2020» — документу с целями, которые правительство РФ планировало достичь до 2020 года. Сафронов сравнил два ряда словосочетаний: 1) «открытая экономика», «открытость данных», «информационная открытость», «открытое образование» и менее привлекательные (с точки зрения сценарного плана документа) 2) «свободный рынок», «высвобождение средств», «свобода выбора потребителя» и «свобода творчества». Докладчик справедливо указывает на проблему, заключающуюся в том, что вся Стратегия сводится к вопросам управления «человеческим капиталом». Но списать ситуацию, в которой российское высшее образование оказалось в 2020-е, только на неолиберальную политику довольно трудно и представляется крайне спорным: борьба за финансовую поддержку, на которой решил сосредоточиться Сафронов (в случае российских вузов — за государственные гранты, в случае иностранных — за частные деньги), не является глобальным процессом и не отражает различные культурные предпосылки, такие как зависимость образования от государства, наличие альтернативных академических традиций и условия политической диктатуры, которые только предстоит исследовать в связи с современными трансформациями академии как социального института. Сафронов закончил свой доклад на оптимистической ноте с призывом развивать «радикальную цифровую грамотность», которая позволит превратить технологические инструменты из нейтрального орудия в активных агентов академического труда. В связи с этим он поставил перед аудиторией серию вопросов, касающихся соотношения человеческих и нечеловеческих усилий в процессе достижения академических свобод. Дискуссия после доклада была построена вокруг технопессимистического и технооптимистического сценариев будущего академии. Технооптимизм Сафронова совершенно обоснован и новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), способны не просто одержать верх над теми, кто нарушает академические свободы, а переписать правила игры вообще и выйти за пределы нормативных ограничений, заложенных в фундаменте самой университетской традиции. Но не стоит забывать об академии за пределами Глобального

Севера, которая в значительной степени остается нетронутой цифровизацией и по-прежнему находится на периферии мирового экономического развития. Помимо прочего, это говорит о том, что технологическое новаторство для нее не является вопросом первостепенной важности, тогда как требование открытости, которую так часто недооценивают исследователи, чей профессиональный путь пришлось на 1990-е, напротив, становится принципиальным вопросом для множества дисциплин и отдельных ученых.

Евгений Добренко (Университет Ка-Фоскари, Венеция), выступая с докладом «*Lost and found в советологии*», подчеркнул, что в понятии академических свобод его больше интересует «академия», чем «свобода». Некоторые участники к такой смене акцентов отнеслись с настороженностью. Добренко пояснил, что сегодня, как ему кажется, под академическими свободами чаще всего понимается вульгарный активизм: в условиях, когда свобода гарантируется «исторически укорененной автономией университетов» и не регулируется институтом цензуры (опять же были рассмотрены только западные университеты), угроза подкрадывается изнутри, со стороны политически ангажированных (*partisan*) представителей академии, что в будущем может привести к унификации тем и методов исследований. Для подтверждения своей позиции докладчик обратился к эволюции, которая происходила с советологией. Хотя изначально, в 1940-е годы, советология претендует на то, чтобы стать междисциплинарным исследовательским полем, которое позволило бы прийти к комплексному пониманию социальных, исторических, политических, военных, экономических, культурных и других аспектов жизни СССР, в 1950–1960-е она становится продолжением холодной войны в стенах американских и европейских университетов и из научной области превращается в конъюнктурную. В этом смысле иронично название первой советологической школы — «тоталитарная». Принадлежавшие к ней исследователи критиковали советский режим, ограничиваясь продвижением либеральных ценностей, а ответы, которые они давали на многие ключевые для этой области вопросы, оказывались настолько неадекватными и односторонними, что в итоге привели к «ревизионистскому бунту» 1970–1980-х годов. Новая школа ревизионистов противопоставляла себя «тоталитарной» через смещение фокуса исследований с политического режима на социальную историю СССР. Так, например, основоположник ревизионизма Моше Левин указывал на то, что причиной террора были в равной мере сталинизм и народные массы, исторические традиции насилия, отсутствие культуры общественного диалога и т.д. «Если [“тоталитарные”] советологи занимались виновниками советской трагедии, ревизионисты занялись ее жертвами», — емко подметил Добренко, и в этом почти зеркально-механическом смещении акцента с палачей на жертв заключалась научная нищета ревизионизма, так и не сумевшего выйти к фундаментальным вопросам о природе большевистской диктатуры и ее социально-исторических истоках, отодвинутым на задний план пусть и происходившим в стенах академии де-факто, но политизированным противостоянием (в данном случае — «левыми» с «правыми»). По этой причине многие темы, например культура при Сталине, начинали разрабатываться исследователями только в 1990–2000-е годы, а в России — еще позже. Катерина Кларк, авторка пионерской работы «Советский роман. История как ритуал» (1981), называла себя «прокаженной» среди коллег, которые занимались русской литературой и считали, что соцреалистическая литература даже не стоит рассмотрения. Как следствие, обращение к подобным «маргинальным» темам оказывалось сумбурным и не имеющим под собой удовлетворительной научной базы. Похожие тенденции, по мнению докладчика, можно проследить и сегодня: так, соцреализм в восточноевропейских литературах и советская многонациональная литература — темы, которыми в последнее время

занимается Добренко, — как целостный имперский проект не получают должного рассмотрения. Методологический репертуар постколониальной теории, ставший, как утверждал докладчик, академическим мейнстримом, не подходит для исследования имперских практик: «Империя — это сложное явление, в котором взаимодействуют многие акторы. Поэтому ее анализ требует не замены одного голоса, голоса угнетателей, другим голосом, голосом угнетенных, а реконструкции исторического взаимодействия во всей сложности политических, национальных, культурных и эстетических связей и контекстов», — добавил Добренко. С этим утверждением можно поспорить, предварительно указав на одно существенное противоречие. Если изначально в докладе речь шла о специфичности советского общества и культуры, то в приведенной реплике уже сообщается о неоднородности любой империи, а это в свою очередь не согласуется со множеством классических и современных теорий империализма, опирающихся на эмпирические данные и личный опыт людей. Добренко определенно прав в том, что национальные литературы в СССР «смогли развиваться, а большинство из них даже возникло только благодаря тому, что они были неотъемлемой общей частью советского национального строительства и формировали советское имперское пространство, советскую нацию». Но разве не на этом же настаивает теория субалтерна (Гаятри Чакраворти Спивак), согласно которой становление и развитие угнетенного в культуре определяет империя, а не он сам? Участников дискуссии преимущественно интересовало, как избежать ангажированности в своих исследованиях (при этом так и не был затронут «вечный» вопрос — можно ли избежать ангажированности вообще). Ответ, к которому они пришли, оказался более чем взвешенным: здравый скепсис необходим по отношению к любому теоретическому мейнстриму.

Михаил Соколов (Висконсинский университет в Мадисоне) представил доклад на тему «Делегитимация и академические свободы при диктатуре». Соколов обратился к совершенно уникальному, если не аномальному, явлению — советской социологии, у которой, несмотря на идеологический гнет, получалось развиваться по мировым меркам невероятно успешно: первая социологическая ассоциация в СССР появилась в 1958 году, в 1971 она насчитывала 1421 членов, что делало ее второй (после США) в мире по размерам, и, главное, в отличие от американских и европейских коллег, у нее было стабильное финансирование. Но не было свободы, необходимой для того, чтобы заниматься наукой. Здесь всплывает вопрос, которым и задался докладчик: зачем тогда в СССР была нужна социология? За ответом Соколов обратился к теории Ирвинга Гофмана, которая объясняет взаимодействие людей, когда они вынуждены встречаться лицом к лицу в замкнутых пространствах. По Гофману, в подобных обстоятельствах центральным нервом является стремление сохранить лицо — концепцию себя, которая проецирует индивида в возникшую ситуацию. Так, согласно интерпретации Соколова, одни (ученые) избегали демонстрации всего, что не вписывалось в «официальную» линию, руководствуясь страхом потерять лицо. Другие же (власти) помогали первым сохранять лицо, закрывая глаза на то, что иногда этот процесс выходил за рамки. Наличие сильной академической социологии обеспечивало советскому режиму своеобразную легитимацию, что было для него особенно важным в свете «научного» строительства коммунизма. Взамен социологи получали щедрую поддержку, а в некоторых случаях и доступ к «буржуазному» знанию (например, подцензурной литературе или поездкам на конференции за рубеж). Все это порождает закономерные вопросы о личной и коллективной ответственности ученых при диктаторском режиме, а также о характере академической культуры в СССР. Сергей Зуев справедливо заметил, что социология может соседствовать с экстремальными формами диктатуры, как, например, в современных Китае и Иране. Однако в этих слу-

чаях неизбежной становится ограниченность выводов, к которым приходят ученые ввиду их же собственной мнительности — того, что легитимирует режим на личном уровне. Также в рамках дискуссии *Галина Орлова* задалась вопросом о том, применима ли теория Гофмана к политическому материалу и насколько с ее помощью можно концептуализировать советский академический ландшафт, в частности поздний, как «красно-белый».

Филипп Федчин (проект «Смольный без границ») в докладе «*О традиции понимания академической свободы в рамках американской модели liberal arts и о трудностях реализации этой модели в других контекстах*» он рассказал о модели «свободных искусств и наук» (*liberal arts*), ее непростом пути в России и последующем изгнании. Для начала Федчин, дабы избежать разночтений и развеять стереотипы, определил *liberal arts* как «образование-для-студента» (*student-oriented education*), что не означает слепого внедрения практик из бизнеса в образовательный процесс. Развивая эту мысль, докладчик обратился к статье классика модели *liberal arts* Джонатана Беккера «Что такое либеральное образование и чем оно...не является» (2012): «Современное образование по модели свободных искусств и наук представляет собой систему высшего образования, призванную воспитывать в учащихся желание и способность учиться, критически мыслить и умело выражать свои мысли, а также воспитывать граждан, способных стать активными участниками демократического общества. Такую систему отличает гибкий план обучения, совмещающий широту дисциплинарного охвата с глубиной изучения предмета, поощряющий междисциплинарность и предоставляющий студентам максимально возможную свободу выбора. Кроме того, модель реализуется через ориентированную на студента педагогику — интерактивную и вовлекающую учащихся в работу с текстами как в аудитории, так и за ее пределами». Согласившись с этим расширенным определением, Федчин заострил внимание на том, что студент, на которого ориентирован образовательный процесс, рассматривается как уже самостоятельный (взрослый) и ученый индивид, поэтому свобода в выборе предметов для него важна так же, как и для преподавателя важна возможность вести свои авторские курсы, а для ученого — определять исследовательскую повестку. (В этой трехсоставной модели угадывается влияние гумбольдтовского определения свободы.) Баланс между этими параметрами и является краеугольным в построении университета, в стенах которого принцип академической свободы может быть реализован в полной мере. Теория, сторонником которой выступил Федчин, неоднократно применялась на практике, чему была посвящена значительная часть доклада. Дело в том, что Филипп — один из пионеров образовательной модели *liberal arts* в России, на протяжении долгого времени он плодотворно работал в Смольном колледже свободных искусств и наук. Нападки со стороны консервативной общественности и государства привели к фактической ликвидации колледжа (2021) и изгнанию *liberal arts* из России. Тогда Федчин выступил инициатором международного образовательного проекта «Смольный без границ», который продолжил миссию Смольного колледжа и предлагает онлайн-курсы от его преподавателей на русском и английском языках.

*Иван Курилла** (Колледж Уэллсли) своим докладом «*Объяснить и изменить мир: что в нашем мире могут гуманитарии?*» тематически и идейно продолжил предшествующее выступление, рассказав, как именно сегодня ограничивается свобода университетов и как ученые (не) могут этому противостоять. Сперва Курилла коснулся разницы между американским и континентальным (включая российское)

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

определением академической свободы: если в США оно означает свободу от государства, то в Европе — свободу студентов от преподавателей, так как исторически университетские профессора были на службе у государства. В обоих случаях внимание властей к вопросам высшей школы было повышенным, ведь ученые способны «переизобретать» мир, задавая новые системы координат, которые могут изменить порядок вещей не только в отдельной научной отрасли, но и для целого общества. Особая потребность в таких ученых (Курилла преимущественно сосредоточился на гуманитариях) наблюдается на постсоветском пространстве, где горизонтальные связи между людьми были разгромлены, подавлены и подчинены. Примером связей, о которых говорил Курилла и которые сегодня удалось восстановить, является культура публичных писем в поддержку коллег, когда люди науки единым фронтом выступают против давления со стороны институциональных структур. Государство нередко стремится поставить под вопрос авторитет академии и помешать ее представителям работать в том числе над политической альтернативой. Так, в США власти привлекают ученых к участию в стабильно финансируемых госпроектах, чтобы тем самым «приручить» науку, воспользоваться ее экспертным статусом, а иногда и умышленно дискредитировать. Переходя к российскому примеру, Курилла указал на то, что ученый — это проводник социальных изменений, в чем можно убедиться на примере перестройки, когда многие политические лидеры были выходцами из преподавательской среды. Поэтому, чтобы предотвратить смену режима, современные власти пытаются установить полный контроль над образованием. Однако ученым не стоит забывать о собственной ответственности перед обществом. По наблюдениям докладчика, многим российским исследователям свойственна, с одной стороны, «народофобия», с другой — неуверенность в собственных силах, что и приводит их к печальному союзу с государством. Теми же средствами администрация Трампа пытается влиять на американскую образовательную систему изнутри, оказывая финансовое давление на университеты, сокращая программы поддержки уязвимых социальных групп, что вынуждает одних ученых сотрудничать с совсем нелицеприятными властями, а других — уходить из науки. Будучи очевидцем событий в США, Курилла предположил, что для противодействия нападкам на образование необходима всеобщая забастовка за академические свободы, тогда как сейчас большинство протестов в американских кампусах имеют локальный характер. В рамках дискуссии в ответ на сомнения коллег в масштабах давления на американские университеты докладчик обратился к ситуации в отдельных штатах, где запрещается преподавание целых дисциплин (например, *gender studies*). В это же время безусловную поддержку сверху встречает продвижение ультраправых политических взглядов с кафедр и поиски внутренних врагов, в частности, среди участников пропалестинских демонстраций и «гендерных» движений.

Секцию завершил Ян Сурман (Академия наук Чехии, Прага). Его доклад «Чья «свобода науки»? Некоторые исторические соображения о современном дискурсе» представлял собой ряд критических замечаний относительно гумбольдтовского определения свободы, которое, если посмотреть на все предшествующие доклады, является общепринятым. Несмотря на то что Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) считается пионером концепции академических свобод («свободы науки») не только в теории, но и на практике в Берлинском университете, он оставлял за государством право назначать профессоров и вмешиваться во внутриуниверситетские дела. Тем не менее фигура Гумбольдта остается во многом мифологической и предстает скорее как важный символ и референт университетского духа, а не тот, кто на самом деле повлиял на складывание европейской университетской традиции. Сурман представил портреты нескольких чиновников, которые привели академическую жизнь со всеми ее несовершенствами к современному виду. Первый

из них, Фридрих Альтхоф (1839–1908), был главой университетского департамента в Министерстве образования Пруссии. Разработанная им модель исследовательского университета распространилась далеко за пределы Германии, особенно в США. Но исторический кейс Германии все равно более показателен. «Система Альтхофа», сочетавшая исследовательскую свободу и подотчетность государству, привела к странному парадоксу: в 1930-е годы многие немцы отправились в университеты, надеясь сохранить свои «свободы» там и избежать участия в преступлениях нацистского режима. Но «свобода» в стенах академии гарантировалась только этническим немцам, к тому же не выступающим против режима, что также делает их соучастниками гитлеровцев. Другой важный пример, к которому обратился Сурман, чтобы продемонстрировать отсутствие реальной свободы в модели «свободного университета», связан с именем Леопольда-Лео фон Тун унд Гогенштейна (1811–1888). Оказавшись во главе министерства просвещения Габсбургской империи в 1849 году, он провел реформу, в результате которой университеты перешли к профессорскому самоуправлению. Однако этот шаг был сделан не для налаживания автономии высшего образования, а, напротив, чтобы обеспечить воспроизводство наиболее консервативной прослойки университетских служащих. Сурман подытожил, что эти и другие примеры влияния закоренелых консерваторов на академическую жизнь объясняют отсутствие позитивной концепции «свободы науки», чем нередко пользуются политически ангажированные исследователи.

Второй день конференции начался секцией «*Академические свободы и образ ученого в долгом XIX веке*». Андрей Зорин (Оксфордский университет) в докладе «*Соблазн устройства*» (Толстой и образовательные институции) обратился к важной в свете темы конференции статье Льва Толстого «Воспитание и образование» (1862). Хотя отношение Толстого к институциональному высшему образованию было далеко не однозначным (например, он считал, что работа в университете несовместима с научным поиском), его привлекала идея «народных школ». Образование и его свободу Толстой рассматривал неразрывно от вопросов общечеловеческой свободы, о чем говорит исторический контекст написания статьи (эпоха реформ Александра II, называемых великими), а также влияние видного мыслителя и общественного деятеля Николая Костомарова. Костомаров был убежден, что в стенах университета «воспитанию» нет места, и потому подразделял соответствующие учреждения на «учебно-воспитательные» и «учебно-образовательные». Университетам, относящимся к «учебно-образовательным», следовало относиться к учащимся как к взрослым самостоятельным людям, но достичь академической свободы в полной мере, по Костомарову, можно было только за счет отмены студенческой корпорации как таковой, то есть отказавшись от особых прав и обязанностей студентов, например, от униформы, учебного плана, экзаменов и дипломов, поскольку все это препятствовало свободе личной. Вслед за Костомаровым Толстой (почти за 100 лет до Мишеля Фуко) даже приравнивал университетские порядки к армейским. Но Костомаров шел дальше, утверждая, что университет, который хотят использовать в качестве основы для национального возрождения (см. полемику между Костомаровым и Борисом Чичериным, сторонником германской прогосударственной модели университета, следы которой можно обнаружить в статье Толстого), реформировать нельзя и его следовало бы упразднить. Вывод, к которому Толстой приходит в своей работе, заключался в том, что воспитание — принудительный процесс, а образование — свободный. Зорин связал это представление с современными *liberal arts*, которые отказываются от лекционного формата в пользу свободного и добровольного общения между преподавателями и студентами. Последние же посещают занятия не «для галочки», а чтобы получить новые знания. Зорин завершил доклад отсылкой к поздней философии ненасилия Тол-

стого, которая определяет воспитание как насилие, проводимое через государство, религию, семью и, не в последнюю очередь, через интеллектуальные круги и университетских преподавателей. В 1910 году, за пару недель до ухода из Ясной Поляны, Толстой писал: «Ошибка, когда мы желаем устраивать жизнь других людей, даже своих детей. В числе всех суеверий, от которых страдает человечество, есть устройство других людей, на основании которого существует государство, всякое правительство, социально-революционное устройство и даже до малейших подробностей устройство своих детей. Стараться быть свободным от желания устроить. Если я сильно желаю устроить, я легко поддаю соблазну устроить насилие». В дискуссии Андрей Леонидович еще раз подчеркнул, что позитивная программа Толстого в области образования строится на свободном обмене знаниями и осуществляется в разговорах разных людей друг с другом, иногда даже случайных, что можно было нередко встретить в студенческих кружках. В ответ участники справедливо заметили, что дискуссии вокруг проблем университетов в России XIX века невероятно близки сегодняшнему дню.

Доклад Веры Мильчиной (РГГУ / ШАГИ РАНХиГС, Москва) «Свобода Университета и свобода от Университета: вид снизу» начал увлекательное знакомство участников конференции с образами ученых во Франции XIX века. После наполеоновского декрета 1808 года университетская корпорация получила в свое ведение высшее, среднее и даже начальное образование. Докладчица привела цитату из статьи «Народное образование» за авторством Дюроше (настоящее имя — Луи Ребо), вошедшей в многотомный сборник «Новая картина Парижа в XIX веке» (1834–1835): «Университет вышел из головы императора, как Минерва в полном вооружении в шлеме на голове и с копьем в руках». Мильчина обратила особое внимание на контекст университетских свобод времен Июльской монархии (1830–1848): если Французская революция 1789 года освободила образование от клерикализма, в частности от влияния иезуитов, то в 1840-е годы те самые иезуиты выступили с требованием открыть религиозные учебные заведения. Докладчица рассказала, как общественные дискуссии по этому поводу отразились в иллюстрированных «нравоописательных» сборниках второй четверти XIX века (например, многотомнике «Французы, нарисованные ими самими»⁸, а также «Призме», «Физиологиях» и др.). Достоинство этих источников заключается в том, что они передают эмоциональное восприятие французов и наглядно показывают общественное (на деле — субъективное авторское) отношение к типажам университетской жизни, а также к господствующим в ней иерархиям и порядкам. Доклад Веры Аркадьевны был насыщен богатейшим иллюстративным материалом и его скрупулезным анализом, так что передать всех нюансов в рамках ограниченного по формату обзора не представляется возможным. Докладчица попытожила, что в 1830–1840-е годы французы искали свободу за пределами школы, что подтверждают слова уже упомянутого Дюроше: «У Франции не будет ни нравов свободных и национальных, ни ясно очерченной физиономии, одним словом, не будет образования до тех пор, пока правительство не решит ограничиться только приходящими учениками, не откажется от коллежей, пансионеров от казарменного порядка в нормальных школах и в школе патриотической».

Сергей Зенкин (РГГУ, Москва / НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) в докладе «Свидетели, толкователи, соблазнители: Фигуры ученого во французской литературе XIX века» обратился к препятствиям, с которыми сталкивалось осознание академической свободы французским обществом. Научный прогресс XIX века при-

8 Фрагменты этого сборника см. в: Французы, нарисованные ими самими. Парижанки // Сост. В. Мильчина. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

вел к появлению персонажей, профессионально занятых позитивной академической наукой. До этого времени ученые если и фигурировали в литературе, то как «светские эрудиты» (*honnêtes hommes*) и «эзотерические мудрецы», приоткрывающие непосвященным свое тайное знание. Во второй половине столетия начинают встречаться не только носители, но и соискатели знаний — студенты, которые чаще всего изображались в бытовых ситуациях (а не в академии) и выступали как типичные персонажи. Другая важная категория литературных ученых — изобретатели, получившие особую значимость в обстановке промышленного переворота. Однако докладчика в первую очередь интересовали «статусные ученые», профессора и академики, появляющиеся в романах и новеллах. Со ссылкой на Жака Нуаре Зенкин указал на то, что исключительность ученых распределяется по двум уровням: «На одном уровне ученый выступает как культурный герой, превосходящий по крайней мере по знаниям, а часто и по силе характера обычных людей. На другом — он попадает в характерный для культуры XIX столетия разряд оригиналов, чудаков, и в своей странности производит комический эффект. В этой последней ипостаси ученые наследуют амплу педантов или же резонеров классического театра». Для научной фантастики, по Зенкину, характерны три сюжетные функции: 1) свидетельская (тестимониальная), которая дополняется функцией хранителя архива научных изысканий, позволяющих интерпретировать нечто ранее неизвестное, например чудеса природы; 2) герменевтическая, выраженная в толковании чужих, древних, испорченных, зашифрованных и др. текстов; 3) дидактическая, то есть образовательная и наставническая. В докладе были рассмотрены примеры из «Фортуино» и «Романа мумии» Теофила Готье, «Венеры Ильской» и «Локиса» Проспера Мериме, «Клер Лемуар» Огюста де Вилье де Лиль-Адана, «Преступления Сильвестра Бонара» и «Современной истории» Анатоля Франса, «Бессмертного» Альфонса Доде, «Ученика» Поля Бурже, «Доктора Паскаля» Эмиля Золя, широкого ряда научно-фантастических произведений Жюль Верна, а также французских адаптаций истории главного университетского ученого XIX века — доктора Фауста (первая часть гетевской поэмы, переведенная Жераром де Нервалем, иллюстрированная Эженом Делакруа и положенная на музыку в опере Шарля Гуно). На основе этих примеров докладчик сделал вывод, что образ науки во французской литературе XIX века амбивалентен, а отношение к ученым зависит от сознательных социально-политических убеждений того или иного писателя. «Амбивалентные фигуры людей науки предвещают тип безумных ученых, распространившийся в массовой культуре XX столетия. Ученые кажутся представителями нового мира — увлекательного, но и опасного. И такая двусмысленная сакрализация одновременно объективирует и десоциализирует его, мешая ему сопереживать. Его интеллектуальные заботы нельзя воспринимать вполне всерьез — они всегда изображаются чуждо», — заключил Зенкин. Образы ученых, как заметил докладчик, переключают читательское восприятие текста из референциального плана в функциональный, напоминая о механизмах, которыми регулируется работа самого этого текста, а олицетворяемая ими наука образует подчиненную систему литературы, скованную литературными конвенциями и лишенную собственных законов.

Конференцию продолжила секция «Академия в эпоху позднего сталинизма». Доклад *Виталия Тихонова* (ИРИ РАН, Москва) «*В тесноте, да в обиде: Институт истории АН СССР в условиях идеологических кампаний позднего сталинизма*» начался с методологического замечания. Исследуя историю советской науки, Тихонов задействовал теорию социальных полей Пьера Бурдьё, в соответствии с которой ученых следует рассматривать как значимого субъекта сталинской системы. Ценность данного подхода в том, что он порывает с тоталитарной школой и ее «репрессивной гипотезой», которой придерживалось большинство российских

историков в 1990-е. Согласно докладчику, социальное поле советской науки было «чувствительным к властному заказу» на уровне науки как социального знания и на уровне производства знания научного. Для раскрытия этого тезиса Тихонов обратился к ситуации в Институте истории АН СССР, сложившейся после войны. Тогда, во время выборов академиков, руководители партийной ячейки писали жалобы «на самый верх» из-за историков-старожилов Института, получивших образование еще в дореволюционной России, которые своей активностью «заглушали» партийцев и не давали им проводить провластных кандидатов. Академик Михаил Тихомиров показательно сравнивал Институт истории с «кафтаном, сшитым гнилыми нитками». Подобная характеристика одновременно подчеркивает прагматическую слабость учреждения и его силу с точки зрения хитросплетений внутренних неформальных связей, наличия кланов и т.д., что, по мнению докладчика, позволяло Институту противостоять идеологическим кампаниям. Помимо этого, справляться с давлением ученым помогал символический капитал, например, в форме патронажа (среди наиболее видных патронов докладчик вспомнил Молотова и Сталина — патрона академика Евгения Тарле, — который мог «и защитить, и натравить»). Еще одним способом самосохранения было повышенное внимание к дискурсу и ритуалам власти: в ходе репрессий многие академики проявляли себя как виртуозы критики и самокритики, что позволяло им избегать конфликтных ситуаций (ср. «они умудрялись критиковать тех людей, которых уже критиковали, и не создавали ситуацию, когда критика расширяется и захватывает все больше и больше людей в свои тиски»), тем самым переводя критику в перформативное измерение. Последней по порядку, но не по значению была упомянута внутренняя эмиграция, которая также позволяла многим ученым оставаться вне политики. Исторический контекст, с которым работает Тихонов, очевидным образом пересекается с другими историями из жизни официальной науки в условиях диктатуры, в том числе и более современными. Определение подобной ситуации избегания как «гнилого кафтана» является наиболее точным, поскольку в ней поиск научной истины теряет свою ценность, а жертвование товарищами предпочитается участию в продуктивном противостоянии с властью. Вопрос о том, что делать с этим «неудобным» наследием, остается открытым. Дискуссия, под стать докладу, была посвящена прояснению методологии, применимости теории социальных полей Бурдье к данному историческому материалу (этот аспект затронули вопросы *Кевина Платта* и *Михаила Соколова*) и перспективам усложнения и расширения исследовательской оптики в сторону социальной, культурной и институциональной топологии (вопрос *Галины Орловой*). Также Орлова указала на широкое понимание свободы, характерное для доклада, так что под ней могут пониматься и «дрейф самокритики», и «порывы эскапизма». Тихонов с этим согласился, отметив, что «историки устали от истории», ведь они постоянно оказывались в центре «исторических» событий и политических пертурбаций, переворачивавших их сферу с ног на голову. Хотя докладчик имел в виду конкретный исторический период и конкретных историков, его слова наверняка отзовутся многим современным ученым.

Далее выступил *Дмитрий Цыганов* (ИМЛИ РАН, Москва) с докладом «*Свобода — это умение вовремя подчиниться партии*»: *Филологическая наука и стратегия (вне)институционального производства знания в сталинскую эпоху*». Этот доклад — пролог к большому документальному исследованию биографии академика Виктора Виноградова, выдающегося советского филолога и одной из ведущих фигур в славистике своего времени, который выбирал себе идейных оппонентов под статью, с чего и начал докладчик. Среди них был, например, Роман Якобсон. Описывая полемику Виноградова с формалистами, Цыганов привел несколько ярких цитат первого, среди которых одна наиболее характерная: «Становится понят-

ным <...>, почему в науке о новой русской литературе, в науке, которая терминологически опиралась на лингвистику, а теоретически продолжает и до сих пор в одной своей части жить лингвистической контрабандой (ср. пересказ Соссюра в историко-литературном плане у Ю.Н. Тынянова, книгу В.Н. Волошинова «Марксизм и философия языка», «Проблемы творчества Достоевского» М. Бахтина, прежние «добытовые» работы Б.М. Эйхенбаума, ранние статьи В.Б. Шкловского и мн. др.), при посредничестве лингвистических понятий разрабатывались отрешенно от конкретной истории языка и даже лингвистической методологии, специфические проблемы литературности. Историки русской литературы стремились вырвать литературу из контекста не только культурной истории, но и истории русского литературного языка». Академический путь Виноградова был отнюдь не линейным, проходил между МГУ, Институтом иностранных языков и Государственной академией художественных наук (ГАХН) и в итоге привел его к аресту по «делу славистов». В годы ссылки Виноградов закончил две свои знаковые книги — «Язык Пушкина» (1935) и «Стиль Пушкина» (1941). Работа с пушкинскими темами была для него вынужденной, на что не раз обращал внимание Цыганов, но именно она помогала ему оставаться в «официальной» науке, избегая конфликта с советской властью, которая во второй половине 1930-х годов укрепляла образ Пушкина как создателя русского литературного языка. В то же время докладчику представлялось важным, что «поиск академической свободы со стороны Виноградова [был] связан не с подчинением партии, но, напротив, с попыткой ввернуть партийной элите собственные идеи», то есть воздействовать на власть через предметное поле, определенное ей самой. Так, сам Сталин в статье «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) отводит Пушкину главную роль в истории русского литературного языка, и Виноградов, находившийся на тот момент в непосредственной близости к официальному языкознанию, — в 1946 году его избирают членом Академии наук — апроприирует пушкинистику для сохранения своей академической свободы, или, вернее, как позже заметил Цыганов, обеспечения стабильности собственного положения в академии. В рамках дискуссии после доклада *Ирина Паперно* задалась вопросом, насколько стратегия Виноградова была добровольной и обладал ли он субъектностью в отношении академической жизни в СССР при Сталине. Отвечая, докладчик с отсылкой к предшествующему выступлению указал на гетерогенность тоталитаризма сталинского типа и его слепоту ко множеству нюансов институциональной, профессиональной и личной жизни, не вписывающихся в официальные рамки. Ирина Ароновна согласилась, ведь «тотальный контроль является такой же утопией, как и тотальная свобода», правда, заметив, что ему (Виноградову) было позволено выбирать свободу таким образом, как он ее себе представлял.

Кевин Платт (Пенсильванский университет, Филадельфия) в докладе «Академический дискурс Александра Некрича 22 июня 1941 года, свобода и ограничения» хронологически шагнул дальше, обратившись к одной примечательной истории. В 1965 году в «Науке», одном из главных советских академических издательств, вышла книга Александра Некрича «1941 год, 22 июня». Уже после публикации работа подверглась сокрушительной критике и была изъята, что для СССР являлось редкостью (обычно спорные с точки зрения государственной идеологии книги до издания не доходили). Говоря об авторе, Платт подчеркнул, что он не был диссидентом, по крайней мере, до того, как вышла его книга. Напротив, Некрич работал секретарем партийной ячейки в Институте истории АН СССР (характерной для него ситуации в послевоенную эпоху был посвящен первый доклад обозреваемой секции, см. выше) и принадлежал к консервативной школе историков. Долгое время он мечтал написать книгу о причинах Великой Отечественной войны, и в начале 1960-х на свет появился небольшой популярно-исторический текст. Вопрос,

который ставил перед собой автор, — почему первая фаза войны оказалась для СССР пагубной — вполне соответствовал духу времени, а его ответ основывался на общеизвестных данных, заявлениях высокопоставленных советских военных и официальных сводках, подтверждающих ответственность Сталина за сокрушительные потери. Книга прошла все этапы цензуры, включая проверку в КГБ, что и позволило ей дойти до публикации. Однако против нее сразу же выступило академическое сообщество «официальных» историков. Это было связано с тем, что после отставки Хрущева политический климат в стране изменился. Другая причина, которую выделили на совещании по поводу книги в Институте марксизма-ленинизма, — за границей о Некриче стали говорить как о главном критике Сталина и СССР. Положение ученого стало шатким, в результате чего он был вынужден эмигрировать. Несмотря на запрет в СССР, его книга продолжила издаваться и переводиться в Польше и Чехословакии, а к 1968 году в издательстве Университета Южной Каролины появился ее неофициальный перевод на английский язык. В самом же СССР удалось изъять лишь небольшую часть из 50 000 напечатанных экземпляров. Для Платта эта история показательна. Категории, такие как память, представленная в данном случае книгой Некрича, и забвение — вытеснение памяти, осуществляемое советскими властями, оказываются нерелевантными для научного анализа социальных процессов и явлений. То же самое касается и категорий свободы и автономии. Несмотря на ограничения, книга продолжала распространяться, а информация о ней — циркулировать в широких кругах, что создавало еще один из множества прецедентов для инакомыслия. Забвение в этом плане предстает не вынужденным, оно становится «кампанией коллективного отрицания, которая разделяет знание на конкретные отчетливые опосредования зоны коммуникации». Свою мысль докладчик подкрепил формулой Маршалла Маклюэна «средство коммуникации — это и есть сообщение» и другими примерами из советского самиздата.

Финальным аккордом секции стал доклад *Ирины Паперно* (Калифорнийский университет в Беркли) «*Каждый член кафедры следит за другим и имеет право вето над ним*»: *Ольга Фрейденберг о Ленинградском университете в 1940-е годы*. Свое выступление Ирина Ароновна начала с цитаты из книги «Люди в темные времена» Ханны Арендт в переводе Григория Дашевского: «История знает немало эпох, когда пространство публичности помрачается и мир становится сомнительным <...>. В такие времена — при благоприятных условиях — развивается особый вид человечности». «Этот особый вид человечности, — добавила от себя Паперно, — развивается в приватной сфере, когда в публичном пространстве невозможна никакая политическая деятельность. Он заключается в повествовании, в способности человека рассказать о пережитом», — и продолжила цитатой из Арендт: «Такое повествование, формирующее историю, не разрешает проблем и не утешает страданий. Но рассказ получает место в мире, где он переживет нас. Никакая философия, никакой анализ <...> не сравнятся по интенсивности и богатству смысла с правильно рассказанной историей». Если для Арендт рассказ о лицах эпохи возможен только постфактум (ср. «смысл совершенного поступка раскрывается лишь тогда, когда само действие завершено и стало пригодным для рассказывания историй» (Паперно)), то главной героине доклада не удалось пережить современных ей темных времен. Ольга Фрейденберг (1890–1955) обычно описывала происшедшие с ней события спустя несколько недель или месяцев в виде ретроспективного дневника, придерживаясь при этом принципов исторической хроники и антропологического наблюдения. Докладчица сосредоточилась на записях, связанных с блокадой и послевоенной обстановкой в Ленинградском университете. Фрейденберг осознанно придерживалась стратегии этнографа, участника-наблюдателя, что

позволило ей проанализировать не только политическую идеологию и институциональные механизмы режима, но и психологическое состояние его соучастников, моральную ситуацию на кафедре классической филологии, которой она заведовала. Фрейденберг, по ее собственному выражению, писала, «думая об историке будущего», который ее не поймет, что указывало на абсурдную и зачастую нечеловеческую логику системы и «винтиков», безропотно (или просто молчаливо) подчинявшихся ей. Хотя наша конференция оптимистически озаглавлена «Антропология академических свобод», записки Фрейденберг вскрывают антропологию несвободы. Университет для Фрейденберг — это Россия в миниатюре, ее кафедра — микрокосм сталинизма, не раз она называла ее концлагерем. Причиной этих слов, по мнению докладчицы, была не резкость или опрометчивость, а глубокий анализ эмоциональной ситуации в стране, не знающей жалости. Симптоматичны нападки на Фрейденберг филолога-классика Ирины Левинской, писавшей, что Фрейденберг была склонна считать доносчиками и интриганамии своих соперников по науке. Нина Брагинская, посвятившая огромные усилия публикации «Научного наследия Фрейденберг», однажды ответила на критику, сказав, что Фрейденберг — «одна из самых чистых людей, которых я знала, и нет никого, кто мог бы по праву бросить в нее камень». Тогда же Брагинская поделилась, что более 40 лет держит текст записок Фрейденберг под спудом, отчасти из страха такой реакции. Паперно рассказала о своем опыте работы с этими записками, который впоследствии нашел отражение в ее книге «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма»⁹. Завершая доклад, Ирина Ароновна подчеркнула достоинства автоэтнографического метода Фрейденберг, который многие до сих пор не понимают и не принимают: «Мне, однако, не кажется, что образ Фрейденберг как ученого и человека снижается тем, что она описывает реакции тела психики на давление террора в академическом быту, включая академические дрязги, в которых она сама участвовала. Университет и кафедра, которую она создала, были для нее дороги, как сама жизнь. И она осознавала потерю кафедры, от которой она в конце концов отказалась, как свою гражданскую смерть. “Моя наука была задрана пальцами Сталина”. “Мои ученики отошли от меня, испуганные сталинским государством”». На страницах этого обзора хотелось бы выразить отдельную благодарность Ирине Паперно. Работа с наследием таких людей, как Ольга Фрейденберг, проливает свет на участь подлинных жертв академии в условиях политической диктатуры. Из их личных записей и воспоминаний мы узнаем о последствиях перформативной критики и самокритики, избегания конфликтов и других форм косвенного сотрудничества с властями, которые были рассмотрены в предшествующих докладах. Попытки сохранить себя «малой кровью», то есть ценной жизни других ученых, которые нашли в себе силы не подчиниться преступной политике режима, свидетельствуют о моральном разложении системы не только сверху, но и на уровне «винтиков». В рамках дискуссии участники сопоставили записки Фрейденберг с другими литературными и теоретическими рецепциями эпохи. Татьяна Вайзер подчеркнула, что доклад Ирины Ароновны переместил свободу в иную, неинституциональную топологию — в область личного высказывания и личного письма, не обращенного ни к кому.

Третий день конференции начался секцией «От постсталинского к позднесоветскому академическому институциональному строительству». Александр Дмитриев (Рурский университет в Бохуме) выступил с докладом «Необходимая оглядка: к истории академических свобод (от Шахматова до Сахарова)». В своем

9 Паперно И. «Осада человека». Записки Ольги Фрейденберг как мифополитическая теория сталинизма. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

докладе Дмитриев обратился к «долгому» XX веку, соединив два предшествующих дня конференции тематически. В истории российской науки и образования либеральный (в смысле освобождающий) компонент был закреплен в 1905 году. Многие авторитетные ученые того времени, в том числе члены Императорской академии наук (наиболее видный из них, по мнению докладчика, — Алексей Шахматов), в ожидании реформ подписали Записку о нуждах просвещения с требованием самоуправления для университетов. Для Дмитриева важно, что это был первый случай взаимодействия ученых с властью, причем довольно удачный, поскольку он повлиял на политизацию научной сферы в последующие годы. Многие из подписантов Записки вступили в Партию кадетов и инициировали создание академических союзов (аналога профсоюзов для академиков), которые отстаивали академические свободы в условиях социальных потрясений. Дмитриев выделил следующие периоды: 1905–1906-х, 1917–1920-х и рубеж 1980–1990-х годов. Также докладчик обратился к 1955 году, когда юбилей Московского университета стал поводом для того, чтобы вспомнить Михаила Ломоносова, Александра Герцена и других исторических фигур, связанных с МГУ, чья деятельность была направлена на достижение автономии науки от государства и отнюдь не всегда согласовывалась с государством. В то время на академическом горизонте восходит звезда Андрея Сахарова, который становится одним из лидеров правозащитного движения (в том числе и за академические свободы) и который впоследствии будет избран народным депутатом (1989). На этом посту Сахаров сделал решающий вклад в реформирование Академии наук и ее превращение из советской в российскую. Дмитриев пришел к выводу о том, что пространство свободы для либеральных интеллектуалов неразрывно связано с вопросами социального упорядочивания внутри академии. Дискуссия после доклада преимущественно была посвящена периодам в истории советского университета, оставшимся вне рассмотрения докладчика, в частности послевоенному и брежневскому, которые также повлияли на формирование культуры защиты академических свобод в России.

Галина Орлова (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Физики или Моральная установка научного творчества в СССР*» обратилась к дебатам о позднесоветской рациональности и формах участия физиков в интеллектуальных культурах и субкультурах. С опорой на исторические источники докладчица определила физиков как тех, кто «способен осуществлять превращение материи в энергию с использованием высокотехнологических знаний». На первый взгляд, работа советских физиков (здесь можно вспомнить Андрея Сахарова, Валентина Турчина, Сергея Поликанова, Валентина Петрухина и др.), связанная с реализацией государственных ядерных программ и проходившая в закрытых городах, не может быть соотнесена с академическими свободами *a priori*. К тому же многим ученым было запрещено публиковать научные статьи по результатам исследований, что является нарушением базового принципа свободы обмена знаниями. Однако, по утверждению Орловой, там, где невозможно обеспечить свободы на уровне институтов, возникает порыв, или даже прорыв, к свободе личной. Так, например, ранний период развития ядерной физики в СССР описывается историками как время полной творческой свободы, когда за колючей проволокой, в условиях сложной системы пропусков и давления служб безопасности, оставалось пространство для научного новаторства, а в некоторых случаях — недисциплинированности и распушенности. На основе воспоминаний самих физиков Орлова пришла к выводу о наличии в их профессиональной среде техноутопических горизонтов (понятие Фредрика Джеймисона), в которых «утопия оказывается серией операций, которые совершаются между закрытым периметром проекта и открытым импульсом» (докладчица пояснила, что под утопическим импульсом философ понимал «фрагментарные, открытые, эмоцио-

нально насыщенные, концептуализируемые в категориях социального желания действия по преобразованию той реальности, в том числе исследовательской, в которой находятся герои»). Другая теоретическая перспектива, к которой обратилась Орлова, связана с концепцией двухпазной конфигурации творчества, предложенной советским психологом Яковом Пономаревым. Первый план этой конфигурации, целенаправленная деятельность по созданию чего-то нового, реализовывался в соответствии с советской эпистемологией и риторикой, а второй — с неосознаваемой частью результата, которая приводит к созданию новых творческих продуктов и сохранению творческого импульса. Выбранные теории помогли докладчице определить, что в местах высокой концентрации людей, ресурсов, запросов, миссии и мн. др. оказалось возможным не только реализовать серию творческих импульсов, но и достичь специфической ситуации и атмосферы, которая связана с созданием, использованием и аккумуляцией побочных продуктов. В заключительной части своего доклада Орлова затронула наиболее острый (среди прочих тем доклада) вопрос о моральной ответственности советских физиков, который нашел отражение в произведениях литературы и кинематографа 1960–1970-х годов.

В последней секции, «От позднесоветской к постсоветской академии», выступил Андрей Герасимов (Калифорнийский университет в Беркли) с докладом «*“Бандунгская” революция в советском востоковедении, 1950–1960 гг.*». В начале докладчик обратился к понятию «постсоветской эпистемы», введенному в научный обиход историком Сергеем Алымовым. Оно означает совокупность различных идей, которые зародились в эпоху оттепели и осели в советских и постсоветских науках об обществе «на подсознательном уровне». Герасимов в целом согласился с этим понятием, заметив, что советскую эпистему корректнее определять не как замкнутый поток идей, а как организационную структуру, которая производила идеи, поскольку, по убеждению докладчика, наука в СССР никогда не находилась в изоляции от мира. Для подтверждения своей гипотезы он обратился к положению дел в советском востоковедении времен холодной войны. После «Бандунгской конференции» (прим. — международная конференция 1955 года, состоявшаяся в Бандунге (Индонезия), в которой приняли участие 29 стран Азии и Африки; дала начало Движению неприсоединения) в СССР появляются первые востоковедческие учреждения, среди которых Восточный факультет МГУ (ныне — ИСАА), Институт китаеведения, просуществовавший всего несколько лет, ряд секторов Института мировой экономики и международных отношений АН СССР и др. Новое исследовательское направление, несмотря на политическую и даже геополитическую значимость, оказалось крайне слабым из-за своей ортодоксальности: востоковеды осваивали дисциплину по откровенно ориенталистскому учебнику «История Древнего Востока» Василия Струве и концентрировались на изучении языков, в том числе древних, а не на реальной ситуации в конкретных странах. Доклад Герасимова был преимущественно реферативным, а советское востоковедение в нем рассматривалось, скорее, как нечто отсутствующее. Впрочем, это только повышает потенциал для дальнейшей работы, в которой молодому исследователю можно пожелать успехов. Один из участников дискуссии Арсений Куманьков (Принстонский университет) отметил, что отсутствие академических свобод и зависимость целой отрасли от нужд государства неминуемо ведет к ее деградации.

Конференцию завершил доклад Ильи Кукулина (Стэнфордский университет) «*Связь производства научного знания и морального авторитета в позднем СССР и постсоветской России*», посвященный памяти двух выдающихся ученых, антрополога Льва Клейна и математика Анатолия Вершика, постоянных авторов газеты «Троицкий вариант». Такое окончание конференции было призвано объединить проблематику академических свобод для гуманитарных и естественных

наук. Примерно в 2007 году на профессиональном сайте молекулярных биологов появился опрос «Какой период для развития науки был самым благоприятным в России». Тогда с огромным отрывом победил вариант «после Второй мировой войны и до перестройки». На это обратил внимание Лев Клейн. В своей колонке для «Троицкого варианта» он прокомментировал результаты опроса, указав на то, что период после Второй мировой войны и до перестройки слишком обширный и включает годы правления Сталина, оттепель и застой — то есть целые эпохи, к тому же противоположные друг другу по духу, не говоря уже о неоднородности каждой из них. Однако между ними все-таки было нечто общее: работники научно-исследовательских институтов могли получать зарплату, при этом ничего не делая. Другой значимый объединяющий фактор — притупленное моральное сознание. По мнению Кукулина, ностальгию у биологов вызывала не вся вторая половина XX века (за исключением конца 1980-х и 1990-х годов), а «позднесоветское время» (1960–1970-е годы). В те годы «интеллигенция, — как писал Владимир Кормер в «Двойном сознании интеллигенции и псевдокультуре» (1970), — почувствовала к себе уважение, и как всегда немедленно предалась очередным иллюзиям. Мы живем в самый разгар этого нового соблазна. Соблазна, как он уже был назван выше, просветительского, или — поскольку он является также идеологией технической и научной интеллигенции — соблазна технократического. Это не прежняя “святая” вера в прогресс, но надежда, что зло может быть остановлено при помощи научных методов управления, планирования, организации и контроля». Несмотря на изначальный скепсис приведенной цитаты, Академия наук действительно не раз проявляла политическую активность, препятствуя откровенно провластным кандидатам на выборах, выступая в поддержку своих членов, включая академика Сахарова, — эти и другие примеры были рассмотрены во многих предшествующих докладах конференции. Кукулин поделился своей убежденностью, что именно память о «полузависимом» состоянии науки в сочетании с относительно устойчивым финансированием повлияла на выбор респондентов. Уже при Хрущеве ученые постепенно переключаются с того, чем требовала заниматься партия, на то, что интересовало их самих. Подобный ментальный эскапизм позволил им посмотреть со стороны на идеологические догмы и осуществить, по словам докладчика, «непроизвольную стихийную деконструкцию», в ходе которой начинается эрозия позднесоветской идеологии. В это же время моральная сила науки становилась частью советского социального контракта. Ученые, в первую очередь представители естественных наук, поскольку от этих наук зависело производство оружия, обладали делегированным авторитетом, что в советском обиходном языке означало «приличный мужик, у него можно попросить» (вслед за Вершиком Кукулин сделал важную оговорку: «приличный» все же не равняется «смелый»). В наши дни в России некоторые структурные элементы отношений между наукой и обществом, характерные для позднесоветского времени, были восстановлены на волне авторитарного отката 2000–2010-х годов. Показателен пример многих ученых с активной гражданской позицией, таких как литературоведа Мариэтты Чудаковой, чья критическая риторика в адрес советских и российских властей, по сути, повторилась. На этом фоне у публики возрос интерес к разного рода гуманитарным лекториям, что, вопреки государственному давлению на независимое образование, только укрепляет моральный авторитет науки. Доклад Кукулина подытожила продуктивная дискуссия о роли публичного интеллектуала в обществе и его умении противостоять как авторитарным властям, так и более глобальным антиинтеллектуальным тенденциям.

Так, в рамках XXXI Банных чтений было заслушано 18 докладов, которые отражают многообразие форм университетской жизни и научной коммуникации, организованных горизонтально или иерархически, методов управления образова-

нием, от демократических до тоталитарных, культурных связей, их пересечений и пресечения, и историй, — некоторые из них вызывают чувства восхищения и гордости, другие заставляют краснеть от стыда. Все предпринятые попытки анализа объединяет осознание того, что академические свободы по-прежнему нуждаются в защите. Особенно это касается современных нам условий социальной неопределенности. По выражению одной из докладчиц, сегодня тема конференции обретает экзистенциальное измерение, ведь научная деятельность связана не только с порой абстрактной идентичностью академика или (публичного) интеллектуала, но и с всегда конкретными практиками (само)критики, преследований и исключения из публичной сферы. Банные чтения традиционно отразили опыт несовершенного прошлого, воображаемого будущего и альтернативных культурных реальностей. Этот опыт учит нас тому, что даже самые темные времена не могут устоять перед внутренним светом свободы.

Николай Нахшунов

Международная конференция «Гаспаровские чтения — 2025»

(ИВГИ РГГУ, 10–12 апреля 2025 года)

DOI: 10.53953/08696365_2026_198_2_381

СЕКЦИЯ «МЕДИЕВИСТИКА»

Утреннее заседание первого дня секции открылось докладом *Светланы Лучицкой* (ИВИ РАН, Москва) на тему «*Александр Великий-крестоносец: портрет античного героя в иллюминированных рукописях “Романа об Александре” XIV в.*». Докладчица указала, что с конца XIII века и на протяжении всего XIV века христианский Запад открывал для себя Азию. Она упомянула, что в это время в Европе начались путешествия и миссии в Центральную Азию и на Дальний Восток (Марко Поло, Гильома Рубрука и др.). Лучицкая отметила, что в тот же период XIII–XIV веков возродился интерес к фигуре Александра Македонского, со временем которого Азия стала восприниматься в Европе как страна чудес. Основное внимание в докладе было привлечено к возникшему в Европе в XIV веке новому жанру иллюстрированных кодексов (т.н. «крестоносных альманахов»), неизменно включавших «Роман об Александре», благодаря которым могли проводиться параллели между разными эпохами и историческими персонажами. Докладчица объяснила появление параллелей между историческими персонажами влиянием не только иллюминированных рукописей, но и хроник и эпоса крестового похода, в которых было немало аллюзий на эпопею Александра Великого в Азии. Лучицкая сделала вывод о том, что эти процессы способствовали интеграции биографии Александра в сеть средневековых текстов и изображений, вследствие которой античный персонаж подвергся своеобразной медиевизации и христианизации. Доклад завершился заключением о том, что в результате этих двух процессов образ Александра Великого в средневековой культурной традиции был переосмыслен: если прежде легендарный полководец воспринимался как образец гордыни и наделялся негатив-